

Зеркало
полюсу

**МИХАИЛ
КОЗАКОВ**

**Третий
Звонок**



Издательство АСТ
Москва

УДК 792.07:929
ББК 85.334.3(2)6-8
К59

Ответственный редактор *Елена Толкачева*

Редактор-составитель *Елена Тришина*

Дизайн серии *Андрея Фереза*

Книга издана при участии *Кирилла Козакова*
и *Анны Козаковой-Ямпольской*

В оформлении книги использованы фотографии
из архивов автора и РИА Новости

Козаков, Михаил Михайлович.

К59 Третий звонок / Михаил Козаков. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 512 с. — (Зеркало памяти).

ISBN 978-5-17-110295-1

В этой книге Михаил Козаков рассказывает о крутом повороте судьбы – своем переезде в Тель-Авив, о работе и жизни там, о возвращении в Россию...

Израиль подарил незабываемый творческий опыт – играть на сцене и ставить спектакли на иврите. Там же актер преподавал в театральной студии Нисона Натива, создал «Русскую антрепризу Михаила Козакова» и, конечно, вел дневники.

«Работа — это лекарство от всех бед. Я отдыхать не очень умею, не знаю, как это делается, но я сам выбрал себе такой путь». Когда он вернулся на родину, сбьлись мечты сыграть шекспировских Шейлока и Лира, снять новые телефильмы, поставить театральные и музыкально-поэтические спектакли.

Книга «Третий звонок» не подведение итогов: «После третьего звонка для меня начинается момент истины: я выхожу на сцену...»

В 2011 году Михаила Козакова не стало. Но его размышления и воспоминания всегда будут жить на страницах автобиографической книги.

УДК 792.07:929
ББК 85.334.3(2)6-8

ISBN 978-5-17-110295-1

© М. М. Козаков (наследники), 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Вместо предисловия

Завтра — четырнадцатого октября 1954 года — мне стукнет двадцать лет!!!!

А чему собственно ты радуешься? Хоть тебе и двадцать лет, но как ты был дурак, так дураком и остался! Спрячь этот «мудрый» диалог и никому не показывай, а когда стукнет тебе сорок, проведи такое же «отчетно-перевыборное» собрание и поставь на повестку тот же вопрос, может быть тогда он будет разрешен более оптимистично (в чем лично я сомневаюсь), но тем не менее это и есть мое искреннее пожелание в твой «славный юбилей»!

Любящий тебя до конца дней наших с тобой

М.К.

14 октября 1954 года

С некоторым опозданием «отчетно-перевыборное» проведено (4 апреля 75 г.). Слушали заявление 1954 г. и поразились: а) что бумажка двадцатилетней давности сохранилась, б) что юноша в двадцать лет был самокритичен... в) не без горечи заметили, что он, тем не менее, радовался!

г) Постановили: сохранить означенный документ еще на двадцать лет и если буду жив («Е.Б.Ж.» — как писал Л. Толстой) еще раз устроить заседание. Резюме: что касается означенного вопроса, полагаю, что человек не может сделаться умнее или глупее — он такой, каким родился...

М.К.

14 окт. 1984 год — 50 лет. Внеочередная запись, в надежде дождаться и положенного срока.

В целом всё написанное ранее — справедливо. Меняется только интонация, что естественно и вполне.

Сегодня могу сказать только и ото всей души: хвала Тебе Господи! Всё справедливо. Ты меня, грешного не оставил...

А это главное...

М.К.

Глава первая

В ПОИСКАХ

ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

Что сказать мне о жизни?

Что оказалась длинной...

И. Бродский

Вмоей причудливой и, возможно, противоречивой судьбе случались воистину неожиданные повороты. Но лишь на первый взгляд неожиданные. Если говорить честно, все мои уходы из театра в театр, «измены» театру с телевидением, которому я отдал годы жизни, расставания с режиссерами, у которых учился, продиктованы, часто интуитивно, лишь одним: желанием быть самим собой и остаться таковым до последнего дня. Я менял театры, города и даже страны...

Боже праведный, ну почему так отвратительно под моими окнами вопят эти твари? Мяучат, визжат, кричат, истерят, сладострастничают. Спасибо, еще не рычат. Засыпаешь и просыпаешься рано утром под этот кошачий концерт. Хорошо еще, если лег спать в нормальном состоянии... А вот если депрессуха, если скребет на сердце и душу словно подгрызает мышь? Сил нет слышать эту многоголосицу. И откуда их столько взялось?! И всё плодятся, плодятся, перебегают улицу, грязные, с отвисшими животами, копаются по дворам в черных пластмассовых бачках, ищут объедки, переворачивают бачки на асфальт, забиваются на ночь под спящие автомобили. «Тель-авивские кошки» —

хорошее название для не снятого мной фильма о нашем американизированном Баку...

Я люблю этот город по субботам. На улицах — ни души, разве что пройдет принаряженное тихое кипастое семейство в ближайшую синагогу; два черных раввина в меховых шапках прокудахчут о чем-то своем, переходя улицу где придется; прошелестит одинокая машина. Зато на тель-авивском пляже — столпотворение.

Я предпочитаю бывать там в будни. Город с моря смотрится цветной рекламной открыткой. Заплывешь подальше и видишь спичечные коробки роскошных отелей, что веером развернулись по золотому берегу моря на фоне туго натянутого голубого шелкового задника. Цветные пляжные зонтики с рекламой банков и супермаркетов, приморские кафе, белые столики и стулья. После холодного, освежающего душа приятно зайти ранним-преранным утром в кафе, где тебя знают, заказать легкий завтрак, кофе «капучино», потрепаться с молоденькой официанткой, которая мечтает поступить в театральный институт, раскурить трубку и, раскрыв роль, учить текст, записывая на полях «рыболовными крючками» новые для тебя ивритские слова. Забавно думать, что еще четыре года назад я только русскими буквами мог записать в тетради длинный монолог Тригорина, переведенный на иврит. А теперь уже пошли в ход и «рыболовные крючки». «Каждый пишет так, как он может», — сказано у Антона Павловича Чехова в пьесе «Чайка».

Когда находишься на подъеме, пребываешь в эйфории, все происходящее, происходившее с тобой представляется разумным, закономерным и, несмотря на все трудности и превратности пережитого, окрашивается в розовые тона. Преодоленное внушает чувство гордости за себя: не сломался, вынес, добился. В эти минуты подъема даже не тянет писать — и слава богу! В противном случае записанное не соответствовало бы истинному положению вещей. Анализ всего случившегося был бы неглубок, односторонен, и вместо «тьмы низких» и объективных истин невольно возник

бы «нас возвышающий обман». Записывать в дни глубокой депрессии представляется тоже неверным: общая картина будет искажена, далека от истинного положения дел. Плюс поменяется на минус с большим количеством восклицательных знаков. В эти черные периоды братья за перо сил уже не хватает и думаешь лишь о самом страшном — чего одновременно желаешь и боишься. Все кажется трагической ошибкой. В этом состоянии забываешь обо всех преимуществах теперешнего положения. Пережитые здесь радости представляются самообманом. Старость, болезни наваливаются на тебя, грехи и ошибки всей жизни встают, как черные горы... И тут не до писаний. Не до анализа.

Сегодня подходящий момент для попытки что-то записать. Дома, в общем, спокойно, нет панического страха — по крайней мере за ближайшее будущее. Да и в отдаленном что-то светит: московско-израильский совместный спектакль, гастроли в Питере и, как минимум, еще один студенческий спектакль в театральной студии в Израиле. Здоровье? Оно не блестяще, однако держусь. Конечно, все это весьма и весьма эфемерно и, как карточный домик, может рухнуть в любую минуту. Тому уже были примеры в моей четырехлетней израильской жизни.

Боже, сколько планов потерпело крушение! Сколько потраченных усилий, сколько унижений! Кажется, что за всю свою тридцатичетырехлетнюю профессиональную жизнь, начиная со студии МХАТа до предотъездной премьеры фильма «Тень» в Москве, столько не испытал, не пережил и не наунижался так, как всего за четыре с лишним года израильской жизни. И возникает закономерный вопрос: зачем? Во имя чего? И как все это могло случиться со мной? Ведь если эти нравственные страдания, весь этот горький опыт не перевоплотятся во что-то, имеющее отношение к искусству, то зачем он был, этот опыт? Зачем?

Все, если вдуматься, очень просто. В 88-м остался один, испугался одиночества, сошелся с молодой женщиной, родился сын, образовалась семья — сообщество из пяти человек, двое из которых пенсионеры из Кишинева. Я испугался

жизни в Москве, испугался за всех, так как главная ответственность ложилась, разумеется, на меня. Жена училась в ГИТИСе на заочном без всяких перспектив на будущее. И, поддавшись страхам, одурев от усталости, бежал в Израиль со всей своей «мишпухой» в надежде... В надежде на что? А вот это мне теперь и самому неясно. Действительно, на что? На русскоязычный театр «Гешер»? На успех у русскоязычной общины, которая казалась огромной и достаточной, чтобы хотя бы первое время прокормиться за счет концертов? А там, думал я, через год-два посмотрим, куда вырулим и что за это время произойдет в России. В крайнем случае вернемся — все теперь так делают: уезжают поработать «за бугор», увозят детей, а потом возвращаются домой, передохнув и заработав какие-то деньжата в твердой валюте. Ведь не навсегда же мы уезжаем, не в эмиграцию — с концами. Новую, иную жизнь понюхаем, капитализм все-таки, не совок осточертевший...

Девяносто первый год... «Союз нерушимый республик свободных» еще в перестройке. Прилавки пусты, я не в театре, да одним театром и не прокормишься. Телекино, которым я занимался, рушилось на глазах, ролей в большом кино тоже не предлагали. Концертная деятельность заглохла, телефон молчал. Вообще было твердое ощущение, что в СССР теперь не до искусства, во всяком случае не до того, которым я всегда занимался. Коммерциализация всего и вся, серый ком бескультурья, видеоклиповщина как принцип потребления и производства, выход на арену новых кумиров: ярмольников, рудинштейнов, алибасовых. (Фамилии можно заменить — суть понятна.) Наиболее сильные и успешные из нашей среды — Рустам Ибрагимбеков, Олег Янковский, Никита Михалков, Андрей Битов, Юрий Башмет (фамилии можно заменить — суть понятна) — строят свою жизнь и на внешнем, валютном рынке, что мне лично было не дано, не светило. Сергею Юрскому светило. Мне — нет. Демидовой это удавалось. Мне — нет. А на мне семья, и главное — годовалый сын.

Вот тогда-то мы снялись с якоря и совершили то, о чем уже пятый год я думаю, думаю почти ежедневно, и нет у меня ясного ответа на сей, видать, неразрешимый, вроде гамлетовского, вопрос. Сотни, тысячи разных ответов возникают в зависимости от положения моих дел здесь, от всеобщего положения дел там, сначала в СССР, потом в СНГ, затем в России, глядишь, в российском княжестве, а единого, ясного ответа нет и, наверное, быть не может. В период депрессии ответ однозначный: произошедшее со мной — трагическая ошибка. В минуты подъема кажется, что уезжать все-таки стоило. Хотя бы из-за Мишки. А теперь и из-за появившейся здесь маленькой Зойки. Ведь они уже часть меня самого. Да и обрыв связи с Россией — пока занавес не опущен — относительный: можно жить здесь и хотя бы иногда работать там. Что-то поставить, сыграть, сняться, напечататься, наконец. И интерес ко мне пока еще кой-какой есть. Старые работы повторяют по телевидению, иногда даже специальные передачи делают — случай-то необычный! Уехал пожилой известный актер и режиссер в чужую восточную страну, без знания языка, и вот, гляди-ка, пока не погиб, не спился, работает по профессии, преподает, ставит, играет. Народил еще одного ребенка, гостей из России у себя в тель-авивском доме принимает и на своей машине их в отель отвозит. Его жена «Русскую антрепризу» держит, из России гастроли театров организует. Есть о чем подумать, во всяком случае, посплетничать от нечего делать.

А что же на самом деле?

В моменты душевного подъема, как правило, всегда связанного с возможностью ставить, играть, преподавать здесь, в Израиле, представляется, что я все-таки не изменил себе, что я все тот же одинокий волк, который, будучи занят борьбой за пресловутое искусство в себе, не изменил ему, искусству. Осознание этой мысли успокаивает, приносит радость и веру в правильность моего решения.

А когда эйфория улетучивается как дым, тогда особенно громко начинают под окном вопить кошки...

Сразу оговорюсь: я не замахиваюсь на научное исследование об исходе 90-х, об алии 90-х, о нашей жизни здесь, на Земле обетованной, где почти у каждого есть обед и ванная. Я не историк, не сионист, хорошо подкованный в теории этой проблемы, не правозащитник и не диссидент. Я даже плохо знаю, точнее, почти не знаю историю культуры идиш в России. Я просто один из многих. Я обыватель. Что-то читал, о чем-то слышал. Читал поэзию Перца Маркиша, разумеется в переводах, любил прозу Шолом-Алейхема, бывал на выставках Шагала, интересовался историей театра Михоэlsa, разглядывал эскизы Тышлера и Альтмана.

Мой отец, еврей по происхождению, родившийся на Полтавщине, не знал идиш. Так что же говорить обо мне? Понятие «еврейские корни» для меня, полуеврея, — это скорее ощущение принадлежности к другим, почему-то не вполне своим в России. Даже пресловутый пятый пункт лично меня почти не волновал: в паспорте — по матери-дворянке — я русский, хотя предки ее были обрусевшие греки и сербы, однако ни греком, ни сербом я себя никогда не чувствовал. Евреем? Да нет, скорее подмоченным русским. Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения. Как ее определить — право, не знаю. Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм, Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры можно множить вне зависимости от времени и пространства, процента еврейской крови, даже вероисповедания или атеистического направления ума. В так называемом нашем кругу — Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Натан Эйдельман, Яков Гордин, Наталья Долинина, Илья Авербах, Андрей Миронов, Александр Володин, Леонид Зорин — никто, насколько мне известно, не знал идиш, не говоря уже об иврите. Английский или немецкий, к примеру, знали, даже французский или испанский знать могли; допускаю, что кто-то мог изъясниться на эстонском или аварском. Идиш знал только Гриша Лямпе, игравший когда-то в театре Михоэlsa. Мне не довелось ни от кого

из этого круга людей слышать, чтобы он читал Башевис-Зингера или Шолом-Алейхема на идиш.

Кроме общеизвестных слов, «тухес», «поц», «бекицер», я не слышал ни от одного моего товарища или приятеля даже тоста за дружеским столом по-еврейски. Все они, в том числе писавшиеся в паспорте евреями, насколько мне известно, не знали, где в Москве находится синагога. При этом не прочь были откусать мацы или фаршированной рыбы, выпить рюмку холодной водки в еврейский Новый год, если об этом случайно кто-то почему-то вспоминал. При этом среди антисемитов считались стопроцентными евреями, а посему — «настоящими русскими». В своей же, еврейской компании могли делить на евреев и жидов, предпочитая и тому и другому определение «порядочный» или «непорядочный» человек.

Никто из нас на еврействе своем не был заиклен, несмотря на местечковые корни предков, на антисемитские государственные репрессии при Сталине, на разнообразные ущемления по пятому пункту своих прав или прав детей, на частичные или абсолютные запреты еврейской темы в русской культуре в течение десятков лет существования советской власти. Однако это не мешало нам — явно или тайно — гордиться вкладом евреев в мировую культуру, восхищаться живописью того же Шагала, с радостью обнаруживать, что не только Чарлз Спенсер Чаплин, Альберт Эйнштейн и Осип Манделштам, но и Франц Кафка, и Джордж Гершвин одной с нами крови.

Знаете ли вы, что Лев Николаевич Толстой на старости лет пытался учить иврит? Но это по другим соображениям — высшего порядка. Он же где-то изрек: «Еврея любить трудно, но надо». Так и сказал? Что ж, его отчасти можно понять. Вот с антисемитизмом Гоголя, Достоевского, Блока и в особенности любимейшего Антон Палыча Чехова смириться труднее. Тут всегда случалась закавыка. Когда же к этому списку добавлялся тоже любимейший Михаил Афанасьевич Булгаков, становилось грустно, и разговор спешили перевести в другое русло.

Помню, после окончания победоносной Шестидневной войны Израиля по Москве ходил анекдот: «Входит в троллейбус огромный пьяный русский мужик. Ищет кого-то глазами. Находит маленького очкастого Абрамовича. Смотрит в упор и грозно, на весь троллейбус: “Еврей?” Тот, вжавшись в скамейку, тихо: “Да”. — “Уважаю!”»

Как-то в Ленинграде во время съемок фильма «Уникум» я завтракал с И. М. Смоктуновским в ресторанчике второго этажа гостиницы «Европейская», и он вдруг полупшепотом обратился ко мне с присущими только ему, неповторимыми, странными интонациями и преувеличенной мимикой:

— Миша! Как ты относишься к победам наших братьев там? — И, не дождавшись от меня ответа (я судорожно соображал, почему Смоктуновский счел нужным именовать себя «их братом»), театральным шепотом закончил: — Не знаю, как ты, а я лично горжусь. Горжусь! Но, разумеется, это тайна. Никому — (он показал своей длинной дланью куда-то на потолок) — об этом ни звука. Тс-с-с!

Смоктуновский много лет прожил со своей женой Суламифью, которая родилась в Израиле, может, поэтому он счел нужным именовать себя братом победивших израильтян.

«Ожидовила его еврейка!» — скажет кто-то. Помню, в Ленинграде, где собирались в нашей столовой все эти Эйхенбаумы, Шварцы, Меттеры, жена Мариенгофа, Анна Борисовна Никритина, шутя говаривала моей маме: «Ожидовили мы тебя, Зойка!»

Кто кого ожидовил, кто кого обрусил — как в этом разобратся? Да и какие «жиды», если вдуматься, были профессор русской литературы Борис Михайлович Эйхенбаум, драматург Евгений Львович Шварц, поэт-имажинист и драматург Анатолий Борисович Мариенгоф или мой отец, Михаил Эммануилович Козаков, думавший и писавший исключительно по-русски? Однако и я, как и другие, втайне радовался победам маленького Израиля, о котором вообще-то понятия не имел и с трудом бы нашел его на карте. Я, как и другие, не только не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, но, как и другие, ненавидел и прези-

рал антисемитизм и антисемитов. Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского. Более того, мне было приятно сознание, что сам Джизус Крайст-суперстар хотя бы наполовину «из наших» и что вообще вся эта заварушка, которая длится вот уже две тысячи лет и имеет хотя бы отдаленное отношение к каждой простой русской бабе, живущей в темной избе где-нибудь в Вологодской губернии, началась в деревушке Нацерет под бедным кровом простой девушки Мириам и ее мужа Иосифа-плотника. А потому рассуждения о том, что, мол, «евреи нашего Христа распяли», меня всегда просто смешили.

Я сам, «полужидок» из атеистической семьи, в шестнадцать лет крестился в маленькой церквушке в Питере, в районе Новой Деревни, что неподалеку от Черной речки. Произошло это событие в 50-м году. Еще жив был Сталин, в которого я верил, как в Бога. Я был сначала пионером, потом комсомольцем, никаких особенных сомнений в том, что мне отчаянно повезло родиться именно в Советской стране, победившей фашизм, первой в мире построившей социализм, первой в мире покорившей Северный полюс и вообще — первой в мире, у меня не было, несмотря на все испытания, выпавшие на долю нашей семьи, и в особенности матери, два раза отсидевшей в сталинской тюрьме...

Креститься в 50-м году было, прямо скажем, не модно, более того, отчасти даже опасно. Узнай об этом кто-нибудь в комсомольской организации моей 222-й средней школы, меня бы по головке не погладили. Но врать не буду — страха у меня не было. Почему? Ну, во-первых, я крестился тайно, а во-вторых, какой-то внутренний голос говорил мне, что я хочу стать таким, как все, и в этом нет ничего предосудительного, скорее наоборот. Как все. Верующим? Нет. Русским. Как моя няня Катя, как ее сестра Настя, как ее племянник Валька. Они-то и были моими крестными в той церквушке около Черной речки. И не только моими. Я убедил креститься вместе со мною девочку из соседней